

12+

ТАТЬЯНА FLEKSY

Легенды Геленджика

ПРЕДАНИЯ СТАРОГО БУХТАРА



Татьяна Fleksy

**Легенды Геленджика.
Предания старого Бухтара**

«Издательские решения»

Fleksy T.

Легенды Геленджика. Предания старого Бухтара / Т. Fleksy —
«Издательские решения»,

«Легенды Геленджика» — это голос древней земли, донесённый до наших дней. Книга объединяет предания, рождённые самой геленджикской бухтой, и исторические факты, раскрывающие их корни. Издание входит в иммерсивный проект Люмифлюкс Арт, где текст оживает в световых образах. Подходит читателям любого возраста. Книга меняет восприятие места — Геленджик предстаёт не точкой на карте, а живым пространством с душой и памятью.

Содержание

Пролог. Первое прикосновение	6
Глава первая. Рождение Бухтара	13
Легенда вторая. Любовь Норд-Оста	20
Легенда третья. Слезы испунов	25
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Легенды Геленджика Предания старого Бухтара

Татьяна Fleksy

© Татьяна Fleksy, 2026

ISBN 978-5-0070-7909-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог. Первое прикосновение

Я приехала в Геленджик вечером.

В тот час, когда день уже начинает отступать, но ещё не сдаётся окончательно. Горы на горизонте стояли тёмные, тяжёлые, как будто подпирали небо плечами и не выпускали из него закат. Воздух был густой, солёный, с примесью можжевельника, нагретого камня, далёкого дыма и ещё чего-то неуловимого, для чего в русском языке, кажется, нет готового слова. Но тело узнало этот запах раньше, чем ум успел его разобрать.

Так иногда бывает с местами, в которых ты никогда не был, — и всё же внутри тебя что-то отвечает им так, словно тебя здесь ждали.

Алёнка встретила меня, обняла крепко, засмеялась. Она всегда смеётся так, будто смех у неё хранится в большом тёплом кувшине и она щедро разливает его всем вокруг.

— Ну что, — сказала она, отстранившись и оглядывая меня с ног до головы, — живая?

— Пока не знаю, — ответила я честно.

Она засмеялась:

— Это правильно. Тут быстро выясняется. Кто ты, зачем приехала, чего от тебя хочет море. Оно тут любопытное.

Я, улыбнувшись, посмотрела на неё.

— Ты это сейчас серьёзно?

— А ты погоди смеяться, — сказала Алёнка. — Завтра на бухту сходим, там и познакомимся.

— Нет, — ответила я слишком быстро, даже для самой себя. — Сейчас.

Она прищурилась. Вечерний свет скользнул по её лицу, и в глазах мелькнуло что-то такое, будто она не удивилась. Будто ждала именно этого.

— Сейчас так сейчас, — кивнула она. — Пошли.

И ни одного лишнего вопроса не задала.

Мы шли к морю по сумеречным улицам молча, и в этом молчании не было неловкости. Наоборот — оно как будто освобождало место для чего-то, что уже начинало происходить и ещё не обрело формы. Геленджик в этот час был тихим, почти домашним. В окнах загорался жёлтый свет. Где-то пахло жареной рыбой. Где-то — розами, мокрым камнем и вечерней пылью. Из открытого окна доносился телевизор. Кошка переходила дорогу медленно, с тем выражением на морде, которое бывает только у существ, уверенных, что ночь принадлежит им по праву.

— Я тебя сначала на набережную выведу, — сказала Алёнка. — Не спеши сразу ничего понимать. С морем вообще лучше не умничать.

— А что лучше?

— Смотреть, слушать, — сказала она. — И не врать.

— Кому?

Она усмехнулась:

— Себе для начала.

Улица кончилась внезапно. И открылась бухта.

Я остановилась.

Есть такие секунды, когда человек даже не успевает назвать то, что увидел. Глаза уже приняли это, сердце уже дрогнуло, а разум ещё отстаёт, как запоздавший поезд. Бухта лежала в сумерках огромная, тёмная, почти неподвижная. Огни набережной дрожали в воде — золотые, белые, оранжевые. Где-то вдали мигал маяк. Горы, уже совсем почерневшие, замыкали пространство так, словно действительно кого-то или что-то здесь берегли.

— Ну? — тихо спросила Алёнка.

Но я уже не слушала.

Меня тянуло к воде.

Там, где заканчивался бетон и начинались мокрые камни, я опустилась на корточки, не думая ни о джинсах, ни о ветре, ни о том, как это выглядит со стороны. Просто протянула руку и коснулась ладонью моря.

Вода оказалась тёплой.

В этой теплоте было что-то другое: как будто под живой поверхностью лежал нижний, древний слой, сохранивший в себе температуру тысячелетий. И едва моя ладонь вошла в неё, всё вокруг резко изменилось.

Сначала пропал звук набережной. Потом — ощущение собственного тела. Потом время вдруг как будто дёрнулось и разошлось в разные стороны, как расходится ткань, если в неё вошёл острый крючок.

И я увидела.

Тёмную воду. Намного темнее этой.

Камень под водой — не природный, а тесаный. Стену. Или основание стены. Лестницу, уходящую вниз. Узкий проход. Чьи-то быстрые шаги. Крик — женский, сдавленный, как будто его зажали ладонью. Запах дыма. Горечь. Бегство. Плеск. Солёный ужас, такой густой, что им можно было дышать.

Потом — вспышка.

Луна в воде, разломанная волной.

Чья-то рука, соскальзывающая с камня.

Тонкое металлическое сияние — будто кольцо, будто монета, будто маленький знак, брошенный небу и морю сразу.

Потом всё разом ушло в глубину.

И в ту же секунду я поняла всем своим существом: море не уничтожило это.

Море это сохранило.

Я резко отдернула руку и вдохнула так жадно, будто только что вынырнула с большой глубины. Сердце колотилось где-то в горле. Ладонь дрожала.

— Эй, — услышала я голос Алёнки уже как будто издалека. — Ты чего?

Я повернулась к ней. Она стояла чуть выше набережной, смотрела внимательно, без паники, но уже не так легко, как несколько минут назад.

— Что с тобой?

Я не сразу смогла ответить.

— Не знаю.

— Плохо?

— Нет. То есть... не знаю.

Я снова посмотрела на воду. Она была обычной. Тёмной, тёплой, мерцающей огнями. Никаких стен. Никаких рук. Никакого крика. Только бухта и вечер.

Но внутри у меня всё ещё расходились круги — по памяти, которой я не могла объяснить.

— Алёнка... — сказала я тихо. — Там что-то было.

Она медленно спустилась ко мне.

— В воде?

— Нет. Да. Не знаю. Я видела...

Я замолчала, потому что произнести это вслух значило бы испортить. Объяснить слишком грубо то, что ещё само не понимало, чем является.

Алёнка села рядом на корточки, проследила взглядом за моей рукой, потом — за водой. Долго молчала.

— Бывает, — сказала она наконец.

Я резко повернулась к ней:

— Что значит бывает?

— Значит, бывает, что море кого-то узнаёт сразу.

— Алёнка, я серьёзно.

— Я тоже, — ответила она спокойно. — Только не дёргайся. Тут, знаешь, если всё сразу начать мозгами грызть — ничего не поймёшь.

— Но что это было?

Алёнка вздохнула, подняла с камня мокрую гальку, покрутила в пальцах и бросила обратно.

— Может, память места.

— Чья память?

— А вот это, — сказала она, — как раз не всегда одно и то же. Иногда место помнит своё. Иногда — тех, кто в него вошёл слишком глубоко. Иногда — то, что уже и назвать-то некому.

Она посмотрела на меня с искренним, чуть печальным участием.

— Ты сейчас лучше не спрашивай много. Просто посиди.

Я и сидела.

Смотрела на воду, пыталась дышать ровно, чувствовала на губах соль. Внутри поднималось странное чувство — не страх, не печаль, не восторг, а что-то между ними, и всё это было слишком большим для первого вечера в чужом городе.

Потом воздух вокруг вдруг изменился.

Стал гуще. Можжевельник в нём обострился. И справа, там, где мокрые камни переходили в большой тёмный валун, что-то сдвинулось. Сначала я подумала, что мне показалось. Потом — что это просто тень. Потом повернула голову и увидела его.

На камне сидел краб.

Большой. Старый. Почти чёрный. Не смешной, не юркий, не курортный краб из детского ведёрка, а какой-то слишком спокойный, слишком неподвижный. Он смотрел не боком, как полагается крабам, а прямо на меня. И в его глазах отражался свет маяка — два маленьких тихих огня.

Я даже не удивилась.

После того, что только что произошло, краб, смотрящий как старый знакомый, казался уже частью того же самого мира.

— Ну вот, — сказал голос.

Я вздрогнула и оглянулась. Алёнка сидела рядом, но молчала и смотрела на воду.

Голос пришёл не снаружи. Он возник внутри. Тёплый, неторопливый, с лёгкой хрипотцой, как будто его вымочили в соли, в ветре и в многолетнем смехе.

— Ну вот, — повторил голос. — Едва приехала, а уже руку в самую память сунула. Торопливая.

Я замерла.

Краб не шевелился. Только смотрел.

— Кто... — сказала я едва слышно.

— Ох, — вздохнул голос почти с насмешливой добротой. — Вот так сразу — «кто». Ни тебе «здравствуйте», ни тебе «добрый вечер». Город, между прочим, старается, море открывается, а она — «кто».

Я уставилась на краба.

— Это... ты?

— А кто ж ещё, — отозвался он. — Кошка, что ли?

Я не выдержала и нервно, почти с облегчением, выдохнула что-то похожее на смех.

Алёнка скосила на меня взгляд:

— Что?

— Ничего, — шепнула я.

Но она смотрела уже не с тревогой. Скорее с тем спокойствием человека, который не слышит слов, но понимает, что разговор начался.

— Здравствуй, — сказала я очень тихо, не сводя глаз с краба.

— Во-от, — довольно протянул голос. — Совсем другое дело. И тебе не хворать.

— Кто ты?

— Да всё тебе сразу подавай, — проворчал он беззлобно. — Нет, дочка, так не годится.

С морем, с памятью и со стариками надо понемногу.

Он помолчал.

— Бухтар я.

Имя вошло в меня легко, будто я уже когда-то его слышала.

— Бухтар, — повторила я.

— Он самый.

— Ты...

— Дух бухты, если тебе так понятнее, — сказал он. — Хранитель, свидетель, старый зануда, местами красавец. Смотря кто спрашивает.

И вот тут я уже улыбнулась по-настоящему, сквозь всё своё потрясение.

— Я сошла с ума? — спросила я.

— Нет, — сказал Бухтар. — Это было бы куда проще.

Маяк мигнул в его глазах. Волна тихо лизнула камень.

— Тогда что со мной происходит?

Он долго молчал. Так долго, что мне вдруг снова стало тревожно.

Потом голос стал тише. Глубже.

— Не всем море показывает, как оно помнит.

Я почувствовала, как по спине проходит холод.

— Что это было? — шёпотом спросила я. — То, что я увидела?

— Начало, — ответил он.

— Чего?

— Того, что тебе откроют, но ещё рано знать целиком.

Я опустила взгляд на воду. Внутри сразу поднялся протест.

— Но почему мне — то?

Краб едва заметно шевельнулся. Не телом даже — вниманием.

— А вот это, милая, — сказал Бухтар, — уже хороший вопрос. Значит, не совсем пропащая.

— Я серьёзно.

— И я серьёзно.

Он снова помолчал.

— Иногда человек приходит к морю впервые и море глядит на него, как на прохожего. Полюбуется, пошумит, ноги намочит — и до свидания. А иногда человек только руку в воду опустит — и поднимается такое, что самому морю делается тесно.

Он чуть хмыкнул.

— Это значит, узнало.

— Но откуда?

— Не спеши, — мягко сказал он. — Поездка у тебя длинная, а память места ещё длиннее.

Алёнка тихо дотронулась до моего плеча.

— Ты побледнела, — сказала она. — Пойдём? Или ещё посидишь?

Я покачала головой:

— Посижу.

— Хорошо. Я рядом постою.

И отошла на несколько шагов, так мудро, так бережно, будто точно знала: некоторые разговоры ломаются от одного лишнего человеческого присутствия.

Я снова перевела взгляд на краба.

— Что ты от меня хочешь?

— Ох, — вздохнул Бухтар. — Сразу «хочешь». Будто я квартирный мошенник. Ничего я пока от тебя не хочу. Смотрю.

— На что?

— На тебя. На то, как ты слышишь. На то, сколько в тебе выдержки. На то, побежишь ли завтра от всего этого подальше или всё-таки придёшь снова.

— А если приду?

— Тогда поговорим.

— О чём?

— О бухте. О памяти. О том, что лежит под водой и внутри людей. О том, что вы всё время теряете, а потом плачете, что потеряли.

Он чуть тише добавил:

— О свете тоже поговорим. Но не сразу.

Вода снова коснулась моих пальцев. На этот раз осторожно. Почти как рукопожатие.

— Я видела какой-то древний город? — спросила я. — Тот, что ушёл под воду?

— Может быть.

— А может быть?

— А может, не город.

Голос Бухтара стал совсем медленным.

— Может, утрату. Может, бегство. Может, чужую последнюю надежду. Может, то, что море хранит уже столько лет, что само перестало отделять одно от другого.

— Ты знаешь?

— Я знаю больше, чем скажу сегодня.

— Почему?

— Потому что если дать человеку всю глубину сразу, он или захлебнётся, или начнёт врать, что понял. А ты пока просто смотри и слушай.

Я опустила голову. Закрыла глаза. Вдохнула соль, можжевельник, мокрый камень, ночь. Постепенно сердце стало биться ровнее. Но внутри уже было ясно: всё, что было до этой минуты, осталось на другой стороне. Будто я стояла не только на берегу моря, но и собственной прежней жизни. А вода только что поднялась мне по щиколотку, по колено, по пояс — и уже не собиралась отступать.

Когда я снова открыла глаза, краб всё ещё сидел на камне. Спокойный. Неподвижный. Древний.

— Так что теперь? — спросила я.

— Теперь? — отозвался Бухтар. — Теперь, дочка, будет девять дней.

— Почему девять?

— Потому что меньше — не хватит. Больше — тебе не вынести.

Я невольно улыбнулась:

— А ты, прям, знаешь? Ты очень самоуверенный.

— А ты очень приезжая, — не остался в долгу он. — Всё думаешь, будто главное — понимать порядок вещей заранее. А тут не так. Тут сначала место в тебя входит, а уже потом ты начинаешь разбираться, что с этим делать.

Он помолчал.

— Завтра Алёнка поведёт тебя туда, где бухта лучше всего показывает себя. Потом — туда, где ветер до сих пор воет старой болью. Потом — к камням, к соснам, к свету, к памяти,

к тому, что люди любят называть легендой, только потому что боятся сказать: правда была слишком большой.

Я вслушивалась в каждое слово.

— И ты расскажешь мне всё?

— Нет, — сказал Бухтар.

Я подняла голову.

— Не всё. Всё никому не рассказывают. Но столько, сколько сможешь унести, — да.

— Зачем?

И вот тут он долго не отвечал.

Так долго, что огни в воде успели раздробиться ещё сильнее, а где-то далеко по набережной прошёл смеющийся людской поток и снова схлынул.

Наконец Бухтар сказал:

— Потому что память нельзя держать в глубине вечно.

Потому что свет, который слишком долго лежит под водой, начинает тяжело дышать.

Потому что у моря есть свои способы выбирать тех, кто вынесет услышанное на берег.

У меня пересохло во рту.

— Я не смогу, — сказала я, почти оправдываясь.

— Это ты пока так думаешь, — спокойно ответил он.

Алёнка подошла ближе.

— Ну всё, — сказала она мягко. — На сегодня хватит. Тебя и так накрыло.

Я встала не сразу. Ноги были как после долгого плавания. Когда я поднялась, краб всё ещё сидел на камне и смотрел на меня.

— Я приду, — сказала я тихо.

— А куда ты теперь денешься, — с доброй ворчливостью отозвался Бухтар. — Иди уже. Завтра первый день. А там и остальные.

Мы с Алёнкой медленно пошли назад по набережной.

Я несколько раз оглядывалась. Тёмный камень у воды уже почти слился с ночью. Только в одном месте, совсем низко над самой кромкой, будто задерживались два маленьких огонька — отражение маяка или чьи-то глаза, я не знала.

— Ну что? — спросила Алёнка, когда мы отошли подальше.

Я долго молчала.

Потом сказала:

— Мне кажется, он ждал меня.

Алёнка не засмеялась.

Не удивилась.

Только кивнула, будто слышала именно то, что и должна была услышать.

— Да, — сказала она. — Похоже на то.

Ночью мне снилось море. Глубокое. Без дна. И где-то внизу, под толщей тёмной воды, лежал свет. Не яркий — золотистый, тёплый, терпеливый. Рядом с ним были камни. Ступени. Чья-то белая рука на мгновение коснулась воды и исчезла. Потом из глубины поднялся голос Бухтара — уже без насмешки, уже почти как зов:

— Не бойся. Это не чужое. Это просто слишком долго не было рассказано.

Я проснулась на рассвете с ощущением, что между ладонями у меня всё ещё находится вода.

А за окном, между крышами и ветвями, уже светлела узкая полоска моря — спокойная, как будто ничего не произошло.

Но я знала: произошло.

И знала ещё одно, хотя не могла бы тогда объяснить словами:

я приехала сюда не случайно.

И море действительно уже знало моё имя.

Глава первая. Рождение Бухтара

Утром Алёнка не дала мне долго спать.

Она сама жила в другом ритме — приморском, раннем, в котором день надо брать за плечи с самого начала, пока он ещё не успел раскалиться, расшуметься, запестрить людьми, музыкой, катерами, детскими криками и тем особым курортным беспамятством, когда место вдруг начинает казаться просто фоном для чьих-то фотографий.

Она постучала в дверь, не дожидаясь ответа, просунула голову в комнату и сказала:

— Вставай.

— Куда? — спросила я, ещё наполовину находясь во сне.

— Туда, где бухта лучше всего показывает, кто она такая.

— Уже?

— А чего тянуть? — сказала Алёнка. — Ты же сама вчера не из пугливых оказалась.

Я села на кровати.

Сон ещё не до конца отпустил. Внутри оставалось странное ощущение: будто ночью меня не просто посещали сны, а кто-то действительно был рядом — не тревожа, не пугая, а при-сматриваясь. Слова Бухтара, услышанные накануне, не рассеялись с рассветом, как это обычно бывает с ночными чудесами. Наоборот — утро как будто сделало их плотнее.

— Алёнка, — сказала я, пока она стояла в дверях, — ты правда его не слышала?

Она не переспросила, кого именно я имею в виду.

Только пожала плечом:

— Не так, как ты.

— А как?

— Как место, в котором что-то есть, — ответила она просто. — Иногда больше, иногда меньше. Иногда подойдёшь — и ничего. Просто море, просто воздух, просто камни. А иногда стоишь — и понимаешь: если сейчас ляпнешь глупость, будет стыдно не перед людьми, а перед самой бухтой.

Она усмехнулась.

— Ну всё. Собирайся. Сегодня Тонкий мыс.

Я оделась быстро. Мы вышли, когда солнце уже поднялось, но день ещё не ожесточился. Утро было светлое, с прозрачным воздухом, в котором всё казалось чуть отчётливее обычного: крыши, листья, повороты улиц, белёсая пыль на обочине, далёкая полоска воды между домами.

По дороге Алёнка купила в киоске два кофе в бумажных стаканчиках, сунула один мне и сказала:

— Пей. Это тебе для земного закрепления.

— А что, сегодня опять будет неземное?

— Смотря как повезёт, — хмыкнула она. — Но с тобой, по-моему, уже всё ясно.

Мы ехали молча, и мне это нравилось. Алёнка вообще обладала редким даром не забал-тывать пространство. Она умела быть рядом не тяжело, не навязчиво, а так, как бывают рядом хорошие проводники: вроде ничего особенного не делают, но именно благодаря им человек не расплёскивает собственное восприятие.

Когда мы вышли ближе к Тонкому мысу, бухта открылась не сразу, а постепенно — как будто нарочно давала время приготовиться. Сначала мелькнула между деревьями. Потом показалась полосой света. Потом вдруг раскрылась вся целиком — большая, выгнутая, обнимаю-щая, с дальним полукольцом берега, с мягкой линией воды, с городом, лежащим по другую сторону как на ладони.

И вот тут я остановилась уже по-другому, чем вчера.

Это было странное чувство. Как будто место, которое я видела впервые, оказалось не новым, а наконец-то увиденным правильно. Только отсюда, с края, становилось ясно, что действительно была похожа на объятие.

— Вот, — тихо сказала Алёнка, вставая рядом. — Я же говорила: из центра набережной про неё ничего не поймёшь. Бухту надо с края смотреть.

Она отпила кофе и прищурилась от света.

— Видишь? Отсюда она как ладонь. Или как подкова. А мне всегда кажется — как будто кто-то большой держит здесь воду, чтоб она не разбежалась.

Ветер здесь был другой, чем внизу. Чище. Свободнее. В нём не было городского привкуса. Он пах солью, горячим камнем, сухой травой и чем-то ещё — тем самым, что я уже начинала узнавать как особый запах этого берега. Внизу шли катера. Где-то смеялись люди. Кто-то бежал по дорожке в наушниках, не поднимая глаз на бухту, и я вдруг подумала, как часто человек проходит мимо самого важного просто потому, что уже заранее решил, что это просто пейзаж.

— Сюда, наверное, хорошо приходить, когда совсем ничего не понимаешь в жизни, — сказала я.

Алёнка коротко взглянула на меня.

— Сюда как раз и приходят не понимать, а вспоминать.

— Что вспоминать?

— Кто как.

Она чуть улыбнулась.

— Ладно. Постой. Не спеши. Тут место разговорчивое, если не мешать ему суетой.

Я подошла ближе к краю обзорной площадки.

Внизу бухта лежала спокойно, светясь утренняя серебряная. Толстый мыс замыкал её с другой стороны. Вода в глубине была темнее, у берегов — мягче и светлее. И вдруг мне снова вспомнилась вчерашняя ладонь в воде, тот тёмный провал памяти, каменная лестница, чувство утраты, так и не успевшей стать словами.

Я закрыла глаза.

И почти сразу поняла: я здесь не одна.

Людей было достаточно — кто-то фотографировался, кто-то говорил по телефону, кто-то объяснял ребёнку, почему нельзя перелезть через ограждение.

Но под этим всем, глубже, уже шло другое присутствие.

Оно появилось сначала как перемена воздуха. Потом — как особая собранность тишины. Потом — как ощущение, будто рядом кто-то стоит, не торопясь обозначить себя.

Я открыла глаза.

На большом светлом валуне у края, там, где от склона шёл спуск к каменистой полосе, сидел краб.

Тот самый.

И в эту секунду я впервые не испугалась и не вздрогнула.

Почти обрадовалась.

— Ну здравствуй, — сказала я едва слышно.

— И тебе доброе утро, — отозвался знакомый голос. — А я уж думал, ты решишь, будто всё тебе вчера с перепугу померещилось.

Я улыбнулась.

— А ты как здесь оказался?

— Ох, — фыркнул Бухтар. — Началось. Словно я тебе вчера ведомость подписал, что обязан сидеть только на одном камне у набережной.

Он чуть помедлил, явно довольный собой.

— Я, милая моя, не домашний попугай и не музейный смотритель. Где вода, берег, ветер и память места сходятся — там и я. Иногда крабом. Иногда голосом. Иногда так, что и вовсе не поймёшь, где кончается прибой и начинается старик.

Я невольно оглянулась на Алёнку. Та стояла чуть поодаль, смотрела на бухту и явно ничего не слышала.

— Она тебя не видит?

— Как меня видишь ты — нет.

— А как тогда?

— Как настроение места, — сказал Бухтар. — Как присутствие. Как вдруг налетевшую серьёзность. Как мурашки по спине у самой воды. Как чувство, что здесь надо бы вести себя по-человечески.

Он усмехнулся.

— Этого, знаешь ли, для многих уже более чем достаточно.

Я тихо засмеялась.

— Значит, ты можешь быть с нами везде?

— С вами? — делано важно переспросил Бухтар. — Ну а как же. Я ж не экскурсовод на полставки. Это моя бухта, мои мысы, мои ветра, мои камни. Куда вы — туда и я, если сочту нужным.

Потом добавил уже тише:

— Только не всегда одинаково. У воды мне проще. В камнях — проще. В тумане — проще. А бывает, что я просто голос, если место само за меня говорит.

Это было именно то объяснение, которого мне не хватало. И странно: услышав его, я внутренне сразу успокоилась. Всё стало правильно. Бухтар не «перемещался». Он мог проступить из самого пространства.

— Ты нас ждал? — спросила я.

— А чего ж не ждать, — проворчал он. — Если уж позвал вчера, надо ж посмотреть, не передумала ли.

— И что?

— Пока не передумала, — сказал он. — Уже хорошо. А то с вашим братом знаешь как бывает? Ночью слёзы, озарения, древняя тоска, а утром кофе выпил — и решил, что лучше в аквапарк.

Я фыркнула от смеха так неожиданно, что Алёнка повернулась:

— Что?

— Ничего, — сказала я. — Просто... хорошо тут.

Она кивнула:

— Вот именно. Здесь у людей даже мысли тише становятся.

Бухтар довольно хмыкнул.

— Умная твоя Алёнка. Не всё слышит, а многое знает. Таких люблю.

Ветер тронул сухую траву на склоне. Снизу донёсся крик чайки. Всё было так просто и так полно и легко — как бывает перед важным разговором, которого долго ждал.

— Ну что, — сказал Бухтар, — будем начинать по-человечески или ещё ходим кругами?

— Начинать, — ответила я.

— Тогда слушай.

Я подошла ближе к камню. Алёнка, словно что-то уловив, отошла ещё чуть дальше, остановилась у ограждения и сделала вид, будто рассматривает горизонт. Я ещё раз поразились её тонкости. Она ничего не ломала своим присутствием. Не вторгалась. Не тянула на себя. Просто была рядом — живой нитью с обычным миром.

— Видишь бухту? — спросил Бухтар.

— Да.

— Нет, — сказал он. — Пока ещё не видишь. Пока ты на неё смотришь. А надо — увидеть, как она появилась.

Он помолчал, и голос его изменился.

Сначала в нём ещё сохранялась привычная тёплая ворчливость. Потом она начала уходить глубже. Как будто поверхностная волна отошла, и обнажился другой слой — древний, медленный, тёмно-зелёный, как глубинная вода.

— Это было до того, как у времени появилось имя.

Море тогда было моложе — не по годам, а по характеру. Оно ещё не знало усталости, не знало привычки. Каждую ночь оно накатывало на берега с одинаковой яростью, каждое утро уходило с одинаковым равнодушием. Оно не помнило берегов. Оно не скучало по ним. Море было везде и поэтому — нигде.

Оно было бесконечным, а бесконечное не умеет привязываться.

Но однажды — в ту ночь, когда с Кавказских гор спустился такой густой туман, что звёзды погасли одна за другой, словно кто-то задувал свечи, — море в первый раз почувствовало что-то странное.

Оно почувствовало берег.

Не препятствие, о которое разбиваешься и откатываешься. А именно этот берег. Вот эти горы, которые входят в воду не вертикально, как стена, а медленно, полого, почти нежно — как человек заходит в реку в жаркий день, нащупывая дно. Вот эти скалы по бокам, которые вытянулись вперёд двумя руками — будто бухта сама хотела поймать море в объятия. Вот этот маленький пляж в глубине, где волны не разбивались — они успокаивались.

Море остановилось.

Такого не бывало никогда.

Оно каталось вдоль этого изгиба берега всю ночь — туда и обратно, как человек, который не может уйти от порога родного дома. Пробовало на вкус гальку. Вслушивалось в то, как горы дышат можжевельником. Трогало подводные камни — осторожно, почти боязливо. И чем дольше оно оставалось здесь, тем больше понимало: это место не похоже ни на одно другое место на земле.

Море, которое никогда не знало укрытия, от чего прятаться — потому что само было стихией, само было угрозой, само было бурей, — вдруг поняло, что именно здесь, между этими двумя мысами, в этом изгибе, который горы подарили воде, можно остановиться. Можно не быть бесконечным. Можно просто быть здесь.

На рассвете море приняло решение.

Оно обняло бухту. Крепко. По-настоящему. Так, как обнимают что-то, что боятся потерять.

И в этом объятии что-то случилось.

Там, где вода встретила сушу — в том месте, где море нашло свой берег, а берег нашёл своё море, в точке этого первого настоящего узнавания — родился я.

Не из пены, как в греческих сказках. Не из грозы, как в черноморских.

Я родился из паузы.

Из той секунды между волной и отходом волны, когда вода ни там и ни здесь — ни море и ни берег. Из тишины, которая длится один удар сердца и в которой уместается всё. Именно в этой паузе, в этом дыхании между приливом и отливом, сгустилось что-то, чего раньше не существовало.

Я сидел на камне у воды. С бородой блее пены, но мягче — как туман, который не колет лицо, а обволакивает. Глаза — тёмно-зелёные, и в глубине их плавали золотые искры, как солнечные блики на воде в полдень. На плечах — плащ, сотканный из того самого тумана, что спускался той ночью с гор, и пах он так, как пахнет здесь всегда: можжевельником, солью,

и ещё чем-то — каким-то пятым временем года, которое бывает только у моря и которому нет названия.

Я посмотрел на воду. Вода посмотрела на меня. И мы узнали друг друга, как узнают себя в зеркале.

Я был самым моментом, когда море полюбило берег. Я был духом не воды и не земли — а пространства между ними.

Духом бухты. Духом Бухтаром.

Первое, что я тогда сделал — засмеялся.

Смех был похож на гальку в прибое: низкий, перекатывающийся, немного хриплый. Потом я встал, расправил плащ — и туман над водой тут же стал гуще, теплее, живее. Прошёлся по берегу — медленно, вздыхая между шагами, как волна между двумя ударами о камень. Потрогал скалы на мысах. Погладил воду ладонью.

— Ну вот. Теперь у этого места есть память.

Я не был стариком в тот первый день. Я был никаким — ни старым, ни молодым. Старость пришла ко мне так же, как приходит к людям, — через то, что я помнил.

Первая морщина появилась, когда я смотрел, как тонет корабль. Маленькое деревянное судёнышко зашло в бухту. Потом налетел ветер — не мой, а чужой, пришедший с севера без спроса — и корабль лёг на бок. Я бросился к воде, выгнал волны так, чтобы они подхватили людей, вытолкнули на берег. Люди выжили. Корабль — нет. И когда утром я смотрел на обломки, покачивающиеся у камней, на лице пролегла первая тонкая черта.

Это была морщина сострадания. Она самая глубокая.

Морщины прибавлялись.

Каждый раз, когда в бухту входили галеры с амфорами — я радовался, и где-то в уголках глаз собирались тёплые лучи. Каждый раз, когда горели причалы — я плакал, и борода становилась тяжелее от соли. Когда генуэзцы строили башню на мысу и в бухте впервые появился огонь маяка — я просидел всю ночь не двигаясь, не в силах оторваться от этого чуда: свет, который говорит морю стой, здесь земля, здесь люди, здесь дом. Это была ночь, когда я окончательно понял, что никогда не уйду.

Да мне и некуда было уходить. Я не существовал нигде, кроме этой бухты. Если бы она исчезла — исчез бы и я. Но бухта не исчезала. Менялись люди, менялись языки, менялись имена на картах — а изгиб берега оставался. Горы стояли. Вода обнимала сушу. Объятие длилось.

И я старел вместе с памятью, которую носил в себе.

Давно, когда ещё не было ни города, ни домов, только берег и звёзды над ним — ко мне пришёл другой дух. Горный., огромный, тёмный, пахнущий снегом и камнем. Встал на краю мыса и сказал:

— Зачем ты здесь? Это место принадлежит горам.

Я ответил:

— Горы входят в воду. Вода поднимается к горам. Туман идёт вверх, дождь — вниз. Этот берег не твой и не мой.

Горный дух помолчал.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Но если люди придут — ты за них отвечаешь.

— Я знаю.

И горный дух ушёл обратно в хребты. А я остался сидеть на своём камне, глядя на воду. Я уже тогда знал, что люди придут. Чувствовал их запах в будущем — дымом, хлебом, рыбой, смолой. Чувствовал их голоса — ещё не слова, просто шум, который однажды станет словами.

И ждал. Терпеливо, как умеет ждать только море.

Когда они пришли — первые, в шкурах, с острогами — я смотрел на них с камня в виде старого краба.

Они меня не боялись. Один мальчик даже подошёл, присел рядом, посмотрел в глаза. Мальчик протянул руку — и я коснулся её клешней. Легко. Как пожатие. Потом мальчик что-то сказал взрослым. Что именно — я не запомнил слов, потому что языка ещё не знал. Но смысл был понятен без слов: здесь хорошо. Здесь можно остаться.

И они остались.

А я отполз обратно в воду, превратился в тёплый вихрь над волнами и засмеялся своим галечным смехом. Потому что это и было то, чего я ждал.

Не кораблей, не городов, не башен с огнём. Просто — людей в моей бухте. Людей, которым здесь хорошо.

Вот откуда я появился. Из первого объятия моря и земли, из паузы между волнами, из тишины, в которой умещается всё.

Каждая бухта — это история любви. Просто у большинства нет свидетелей. У этой — есть...

Он тихо усмехнулся.

— Очень подходящее место для всякой памяти, между прочим.

И вдруг, я словно увидела это.

Тёмную ещё молодую воду, туман с гор, белёсую линию рассвета, два мыса, ещё безымянных, и в точке их первого взаимного узнавания — сгусток тишины, из которого проступает фигура. Сначала как пар над водой. Потом как силуэт старика.

Внизу на воде шли и шли мелкие блики. И чем дольше длился рассказ, тем сильнее мне казалось, что сам ландшафт под ним оживает — как будто нынешняя бухта всё ещё хранит свою первую форму не только в камне, но и в чувстве.

Бухтар заговорил снова:

— С тех пор я здесь. Когда пришли первые люди — я был здесь. Когда они ещё не знали, можно ли остаться, — я был здесь. Когда стали входить корабли, строиться дома, звучать чужие языки, зажигаться огни, рождаться дети, уходить в воду слёзы, кровь, клятвы, кольца, монеты, имена — я всё это видел.

Он помолчал.

— Но началось всё не с людей. И даже не со слова. Началось с того, что море однажды захотело не просто существовать, а любить.

Я не заметила, как рядом подошла Алёнка.

— У тебя лицо, как будто ты саму бухту через себя пропускаешь, — сказала она негромко.

Я медленно повернула к ней голову.

— Может, так и есть.

Она посмотрела на меня внимательно, потом на воду.

— Ну и правильно. Здесь иначе и не надо.

Бухтар тихо хмыкнул:

— Умная женщина. Береги её.

Я едва не засмеялась вслух.

Алёнка облокотилась на перила.

— Слушай, а ведь отсюда правда всё как-то понятнее. Когда снизу гуляешь — красиво. А отсюда видно, что у бухты свой характер есть.

— Какой? — спросила я.

Она немного подумала.

— Не знаю... как у тех, кто много выдержал, но не стал бессердечным.

Я почувствовала, как внутри отзывается не только смысл её слов, но и то, что за ними стоит.

Бухтар молчал, но я ясно ощущала его согласие.

Мы постояли ещё.

Ветер стал чуть сильнее. По воде прошла тень от облака. Утро сдвигалось к полудню. Людей на площадке становилось больше, и мне показалось, что рассказ завершился как раз в тот момент, когда место дало нам нужную глубину.

— И это всё? — спросила я тихо, обращаясь к Бухтару.

— Для первого раза — более чем, — отозвался он. — Ты ж не бочка бездонная.

— Но ведь это только начало.

— А я о чём? — довольно сказал он. — У нас впереди ещё восемь дней и немало камней, ветров и человеческой глупости, которую придётся разбирать по ходу.

Я засмеялась.

— Ты всё время так резко о людях?

— Это я ещё ласково, — сказал Бухтар. — Я ж вас, между прочим, люблю. Иначе с чего бы столько веков сидел тут и нянчился с вашей памятью?

Алёнка посмотрела на меня с лёгким прищуром:

— Ты опять улыбаешься не мне.

— Может быть, — сказала я.

— Значит, контакт налажен, — вздохнула она. — Ну что, пойдём? Или тебе ещё надо постоять?

Я оглянулась на бухту.

— Ещё минуту.

Мы остались.

И в эту минуту я поняла то, чего не было в моей жизни ещё вчера: книга уже началась.

Она началась здесь.

— Запомнила? — спросил Бухтар.

— Да.

— Нет, не умом. Запомнила внутри?

Я положила ладонь на грудь.

— Здесь, — ответила я.

— Ну и хорошо, — сказал он. — Значит, первая дверь открылась.

Когда мы пошли назад, я всё время оборачивалась. Большой светлый валун у края уже снова казался просто камнем. Никакого краба на нём не было.

Только ветер.

Только солнечный свет.

Только бухта, лежащая внизу так спокойно, будто она всегда была просто бухтой и никогда не рождалась из любви моря к берегу.

Но я уже знала: это неправда.

Легенда вторая. Любовь Норд-Оста

На следующий день Алёнка повела меня туда, где город вдруг перестаёт быть курортом и начинает казаться чем-то совсем другим — существом, у которого есть тело, характер и память.

Мы поднялись выше домов, выше шумной набережной, выше утреннего запаха кофе и кукурузы. Тропа была несложная, но воздух менялся с каждым шагом. Внизу Геленджик ещё жил своим обычным дневным ритмом: где-то хлопали дверцы машин, на набережной уже перекликались чайки, кто-то тащил к морю надувной круг, кто-то ругался вполголоса из-за парковки. А здесь всё это начинало отдаляться, как будто город осторожно отходил назад, давая место чему-то более древнему.

— Подожди, — сказала Алёнка, когда мы вышли на открытое место. — Вот отсюда лучше всего видно.

Я остановилась.

Передо мной лежала бухта — целиком, в своей форме, в своём молчании, в своей подлинной линии. Она казалась раскрытой ладонью. Море внизу было странно спокойным, даже слишком спокойным. Свет стоял жёсткий, прозрачный, почти стеклянный. А над Маркотхом уже тянулась белёсая полоса облаков — не плотная ещё, но заметная. Будто кто-то небрежно набросил на хребет длинную шерстяную прядь.

— Видишь? — спросила Алёнка. — Начинается.

— Что?

— Борода.

Я посмотрела внимательнее.

И правда. Белые облака лежали на гребне хребта так, словно гора за ночь постарела и с утра вышла к морю небритой, сердитой, с тяжёлым молчанием на лице.

— У нас так и говорят, — сказала Алёнка. — Если Маркотх бороду надел — жди норд-оста. Может, не сегодня. Может, завтра. Но уже скоро.

И, помолчав, добавила, как говорят о знакомом, вредном, но не чужом человеке:

— Характер у него, конечно, тот ещё.

Ветер ударил в лицо резко, сухо. В нём уже было что-то предупреждающее. Воздух здесь был другим, чем у воды: суше, строже, почти горьким. Хотелось вдохнуть глубже — и не получалось. Или получалось, но как будто не до конца.

Внизу бухта светилась мягко. Сверху хребет темнел, молчал и смотрел.

И в этом было что-то тревожное.

— Сюда хорошо перед ветром приходить, — тихо сказала Алёнка. — Тогда особенно чувствуешь, что город не просто у моря стоит. Он всё время между ними. Между морем и горой. Между лаской и ударом.

Я хотела ей ответить, но в этот момент справа, у осыпанного камнями уступа, воздух вдруг как будто сгустился. Ветер прошёл по сухой траве — и в его шуме мне послышалось знакомое побряхтывание.

— Ну что, дошла? — произнёс голос, в котором было и ворчание, и усмешка, и соль, и каменная галька прибоя. — Правильно. Про ветер на набережной не поймёшь. Ветер надо вот отсюда слушать. Где ему есть размах.

Я повернула голову.

Сначала мне показалось, что на камне просто лежит какая-то тень. Потом эта тень шевельнулась, собралась, и я увидела его.

Не совсем краб — не совсем старик. Скорее и то и другое разом: будто сам воздух над камнем ненадолго вспомнил, как выглядит тот, кто слишком давно живёт у воды. В складках

света проступили густые брови, морщины у глаз, белёсая борода из тумана и соли. И глаза — тёмные, внимательные, с тем особенным спокойствием, которое бывает только у очень старых существ или у очень большого моря.

Алёнка стояла рядом и смотрела на хребет. По её лицу я поняла: она опять чувствует, что место заговорило, но не слышит слов так, как слышу я.

— Ох и нрав у этого Седого, — сказал Бухтар, шурясь на Маркотх. — Вечно ему покоя нет. Всё бы ему маяться, всё бы ветер по людям швырять.

Он покосился на меня.

— Ты на него не серчай. Он, конечно, дурной. Но несчастный.

Я невольно улыбнулась.

— Кто? Хребет?

— А кто ж ещё? Думаешь, это просто камни стоят? Эх, дочка... если бы это были просто камни, вам бы и жить на свете было легче.

Он чуть повернул голову в сторону бухты. И голос его изменился.

— Слушай. Я расскажу тебе, откуда взялся этот ветер. И почему иногда гора смотрит на море так, будто не может ни жить с ним, ни отпустить.

Когда мир только родился — он был весь водой. Ничего больше. Только вода и небо. И между ними — ни горизонта, ни границы. Они были одним. Небо смотрелось в воду, вода отражала небо, и оба думали, что смотрят сами на себя. Так продолжалось долго.

А потом из глубины поднялась земля.

Сначала — просто тёмное пятно под водой, потом — спина, потом — плечи, потом — голова. Она выходила из воды, как человек выходит из реки после долгого плавания: тяжело дыша, отряхиваясь, шурясь от непривычного света.

И вода отступила. Она отошла назад, туда, где глубже, туда, где темнее — и смотрела. Смотрела, как земля сохнет на солнце. Как трескается. Как твердеет. И что-то в ней сжалось. Впервые за всё время своего существования вода почувствовала: что-то есть отдельно от неё.

Вот здесь и начинается любовь. Не когда двое сходятся. А когда впервые понимают: есть — другой.

Земля поднялась — но не знала, как стоять. Она качалась. Ты видела, как стоит ребёнок, который только-только встал на ноги? Земля пробовала себя: здесь поднять, там опустить, здесь — острее, там — положе. Она искала форму. Она ещё не знала, какой хочет быть.

Так стали появляться хребты. Старший из них был — Седой. Но тогда он ещё не был седым. Тогда он был тёмным. Базальтовым. Твёрдым, как злость. Острым, как молодость. Он поднимался выше всех. Он хотел достать до неба.

Но однажды ночью Седой смотрел вниз. И увидел море. Оно лежало далеко — тёмное, тихое, почти неподвижное. Только дышало. Медленно, глубоко, как спит кто-то, кому снится что-то хорошее. И Седой замер. Он простоял так всю ночь. Не двигался. Только смотрел.

А когда рассвело — море открыло глаза. Первый луч упал на воду, и вода вспыхнула — розовым, золотым, живым. Она засмеялась этому лучу. Она поднялась навстречу свету маленькими волнами, как поднимаются руки, когда встречают кого-то любимого.

Ты слышала, как поёт море? Ты слышала, как оно шумит. Как бьёт в берег. Как шуршит галькой на отливе.

Это — не пение. Это — дыхание. Пение — другое.

Море пело только по ночам. Только когда думало, что никто не слышит. Это было... я не могу тебе объяснить словами.

Представь, что кто-то взял всё, что ты когда-либо любила, — первое утро после долгой болезни, запах хлеба из чужого окна, смех матери, когда она была молодой, — взял всё это и сделал из него звук. Вот так пело море.

Оно пело о воде. О глубине. О том, как в темноте на дне качаются медузы — тихо, как фонари в безветрие. О том, как рыбы спят, почти не двигаясь. О том, как соль помнит каждого, кто в ней растворился.

В такие минуты замирало все вокруг. Ветер, который всегда куда-то спешил, — останавливался. Ложился на воду. Слушал. Звёзды наклонялись ниже.

И Седой слышал. Он слышал каждую ночь. Он выучил каждый звук. Он мог бы сам повторить это пение — если бы у гор был голос. Но у гор нет голоса. У гор есть только камень и молчание. Это жестоко. Любить музыканта — и не уметь петь в ответ.

Он пробовал. Однажды ночью он собрал всё, что у него было: ветер в расщелинах, гул камней на осыпях, эхо в пещерах. Он сложил это вместе и послал вниз. Получился вой. Просто вой. Страшный. Холодный.

Море проснулось — и испугалось. Подняло волны. Накрыло себя пеной, как человек накрывается с головой одеялом, когда ему страшно. И Седой умолк. Он понял: то, что внутри него звучит как музыка, — снаружи звучит как буря.

С тех пор он молчал. Но слушал — всегда.

Берег появился позже всех.

Море точило камень, год за годом, волна за волной — и однажды между водой и сушей появилась полоска. Узкая. Тихая. Нейтральная.

Берег не выбирал, кем быть. Он просто оказался там, где земля встречает воду.

Ты думаешь, это легко — быть там, где встречаются два мира? Нет. Каждый день море накрывает его. Каждый день отступает. Берег промокает насквозь, потом сохнет, потом снова промокает. Он никогда не бывает только мокрым или только сухим. Он всегда — между. Между — это самое трудное место.

Но берег не жаловался. Он лежал, и принимал. И отдавал обратно. Море приносило ему медуз, водоросли, ракушки, старые сети, потерянные якоря, утопленные монеты — и берег хранил всё это. Бережно, как хранят подарки от того, кого любят. А море возвращалось. Всегда возвращалось.

Седой смотрел на это сверху и не понимал. Он думал: зачем море возвращается к тому, кто просто лежит? Кто ничего не делает? Кто не поёт, не блестит, не зовёт? Он думал об этом очень долго. А потом понял — и это понимание было как камень, который обрушивается в пропасть: долго летит, и долго слышишь, как он падает.

Море возвращается потому, что берег — ждёт. Просто ждёт. Без условий. И это ожидание — сильнее любого зова.

Потом пришла первая зима. До этого — не было зим. Был просто свет и темнота, тепло и немного прохлады.

Небо затянулось, и с севера пришёл холод.

Седой почувствовал этот холод раньше всех. И что-то в нём изменилось. Холод вошёл в него — и что-то, что было тёплым, затвердело. Он смотрел на море. Море не замечало холода. Оно было слишком глубоким, слишком живым. Оно по-прежнему смеялось, по-прежнему шло к берегу, по-прежнему пело ночами.

И что-то в Седом не выдержало.

Он подумал: если я принесу ему холод, оно остановится. Оно замрёт. И в этой тишине — может быть, в этой тишине — оно услышит меня.

Он не думал о том, что холод может причинить боль. Влюблённые вообще редко думают о том, что их присутствие может причинять боль.

Он спустил с хребта ветер, а с ним и себя. Всё, что в нём было, — всё его одиночество, все его столетия молчания, всё его смотрение сверху вниз — он вложил в этот ветер и отпустил.

Ветер ударил в море. Море вздрогнуло. Оно не поняло, что происходит. Оно подняло волны — высокие, тревожные. Оно закричало. Оно металось между берегом и горизонтом.

А Седой смотрел. И в нём было что-то ужасное — то, что есть в каждом, кто любит без надежды: он видел его боль — и не мог остановиться. Потому что эта боль была хоть какой-то реакцией. Хоть каким-то знаком того, что его чувствуют. Что он — существует.

Но потом ветер утих. И море успокоилось. И снова пошло к берегу. Берег лежал тихо. Он пережил бурю. Он был исхлёстан, обглодан, засыпан пеной — и всё равно лежал. Ждал. Море коснулось его первой после бури волной — тихо, почти виновато. Как прикасаются к тому, кому нечаянно причинили боль. И берег принял..

Седой видел это. И ушёл за хребет. Это была первая бора.

После боры был штиль. Такой штиль, что слышно было, как соль оседает на камни. И берег — заговорил.

Берег сказал морю — тихо, почти шёпотом, так что я едва разобрал:

— Я знаю, что ты уходишь. Я знаю, что ты всегда уходишь. Но я хочу, чтобы ты знало: когда ты уходишь — я не становлюсь другим. Я остаюсь собой. Я жду тебя таким же, каким был. Ты можешь уходить. Ты можешь возвращаться. Я буду здесь.

Море ничего не ответило. Но в ту ночь оно подошло к берегу чуть ближе, чем обычно. На целую волну ближе. И задержалось на секунду дольше. Это и был ответ.

Иногда любовь говорит не словами. Она говорит: подошла ближе. Задержалась дольше.

Седой тоже слышал это. И я видел, как в ту ночь первые облака пришли на его вершину. Белые. Тихие. Пришли и легли на плечи. Как кладут руку на плечо тому, кто плачет и не хочет, чтобы это видели. С тех пор у него всегда белые облака на плечах. Он седой не от старости. От горя.

И вот, был один год....

В тот год зима пришла рано и ударила страшно. Седой собрался весь. Он как будто шагнул вперёд и накрыл воду своей тенью. Море начало замерзать. Сначала — у берегов. Тонкая корочка. Прозрачная. Хрупкая. Потом — уже не корочка, а лёд. Настоящий. Плотный. Белый. Волны остановились.

Море молчало. Седой смотрел сверху и ждал. Он думал: сейчас оно посмотрит вверх. Сейчас оно увидит меня.

Но море не смотрело вверх. Оно лежало под льдом — и ждало. Берег в те дни был страшным. Лёд напoлз на него, сковал камни, придавил водоросли. Берег не мог дышать. Он терпел.

И на двадцать третий день — пришло солнце. Оно пришло с юга, низкое, зимнее, почти без тепла. И первый луч упал на лёд. Лёд треснул. Море проснулось под льдом, почувствовало солнце — и поднялось. Льдины поднимались, переворачивались, с грохотом шли на берег. Берег принимал их. Льдины бились о камни и рассыпались в шугу — в мелкую белую крупу. Берег был весь в этой крупе, как в снегу.

А море вышло из-под льда — и засмеялось. Опять засмеялось. Как будто ничего не было. Как будто не было этих дней плена. Оно встряхнулось, расправилось — и первой волной пошло к берегу.

Седой смотрел. И в этот раз — он заплакал. Горы не плачут водой. Они плачут ветром. Таким ветром, что деревья гнутся до земли. Тот ветер дул три дня.

Люди стали называть такой ветер бора.

Берег стоит между ними и держит.

Он любит море. Море возвращается к нему. Но берег любит и Седого. Как любят тех, кому нельзя помочь, но можно — не оставить. Он позволяет Седому приходить каждую зиму. Он позволяет ему выплакаться. Он принимает его лёд — и топит его своим теплом, накопленным за лето. Он отдаёт это тепло — камень за камнем, слой за слоем — и к весне остаётся почти холодным. Почти пустым. Но море возвращается — и снова наполняет его.

Вот полная история. Гора любит море. Море любит берег. Берег любит обоих.

Это — жизнь. Настоящая жизнь, которая больше просто любви.

— А борода? — спросила я почти шёпотом.

Бухтар посмотрел на Маркотх. Белые облака уже гуще легли на гребень, будто кто-то действительно укутал хребет старой шерстью.

— А это он перед бурей стареет, — сказал Бухтар. — Каждый раз заново. От тоски.

И уже совсем тихо добавил:

— Он седой не потому, что старый. Он седой потому, что слишком долго любит.

Он замолчал.

Ветер прошёл по склону длинной сухой волной. Внизу бухта всё ещё лежала спокойно, но теперь это спокойствие казалось мне не мирным, а хрупким.

Я посмотрела на море.

Потом — на хребет.

И вдруг впервые почувствовала не красоту пейзажа, а отношения. Эту долгую, древнюю, неразрешимую близость трёх существ: горы, моря и берега. Одного, кто любит слишком тяжело. Другого, кто живёт движением и возвращением. И третьего, кто молча держит между ними мир.

Алёнка коснулась моего локтя.

— Что с тобой?

Я медленно выдохнула. Только теперь поняла, что почти всё это время стояла, задержав дыхание.

— Не знаю, — сказала я честно. — Как будто я только что услышала чью-то очень старую боль.

Алёнка посмотрела на Маркотх, потом вниз, на бухту, и кивнула.

— Здесь такое бывает, — сказала она. — Особенно перед ветром.

Мы начали спускаться.

Я шла молча. Камни поскрипывали под подошвами. Внизу город жил своей обычной жизнью — машины, голоса, дети, музыка из кафе, чьи-то полотенца на балконах, обычный южный день. Но всё это теперь казалось только верхним слоем. Тонкой плёнкой над чем-то гораздо более древним.

Я обернулась в последний раз.

Белая борода всё так же лежала на хребте...

Легенда третья. Слёзы испунов

Утром Алёнка сказала:

— Сегодня поедem на Жане.

Сказала просто, как будто речь шла о самой обыкновенной прогулке. Но я уже научилась слышать в её голосе эти едва заметные оттенки. Когда место было просто красивым, она говорила легче. Когда важным — в голосе появлялась почти незаметная собранность. А когда место было таким, где лучше не шуметь и не болтать лишнего, она говорила тише.

Мы выехали рано, пока солнце ещё не успело разжечь воздух до белой сухой жары. Дорога тянулась между зеленью, камнем, знакомой уже южной пылью, и чем дальше мы отъезжали от набережной, от утренних кофеен, от гуляющих людей, от аккуратной курортной картинки, тем сильнее менялось внутреннее ощущение дня. Будто мы не ехали из одной точки в другую, а медленно уходили с поверхности привычного мира.

— Ты там не жди «музейной» тишины, — сказала Алёнка, глядя вперёд. — Сначала будут люди, лавочки, мёд, сувениры, музыка из колонок, шашлык, дети, селфи.. вот это всё.

— А потом?

Она усмехнулась:

— А потом место само решит, пустить тебя глубже или нет.

У входа всё оказалось именно так, как она и сказала. Туристы, торговые ряды, кто-то продавал травы, кто-то домашнее вино, кто-то магниты. Кто-то с важным видом рассказывал, какой дольмен исполняет желания быстрее других. Воздух был пёстрым, тёплым, шумным. Слышались детские голоса, щёлканье фотоаппаратов, смех, запах сладостей, дыма и листвы одновременно.

И всё же даже сквозь эту внешнюю суету уже чувствовалось другое.

Чем дальше мы шли, тем тише становилось вокруг. Сначала исчезли громкие голоса. Потом реже стали встречаться люди. Потом шум торговли остался где-то далеко позади, как будто его отнесло в другой слой воздуха. И вдруг всё выровнялось: тропа, камни, ручей, тень, сыроватый запах земли, скользкие корни, прохлада, которая держится в лесу даже в жаркий день.

Река Жане шла рядом, неширокая, подвижная, живая. Вода перебирала камни. Влажный воздух касался лица. Листья чуть дрожали от невидимого движения. Свет то падал полосами, то исчезал. И постепенно во мне начал происходить тот самый внутренний сдвиг, который уже случался со мной рядом с Бухтаром: мир не менялся внешне, а становился глубже.

Алёнка впереди вдруг замедлилась.

— Вот здесь уже лучше помолчать, — сказала она тихо.

— Почему?

Она чуть пожала плечом.

— Потому что тут сам воздух не любит, когда на него наваливаются словами.

Я улыбнулась, но спорить не стала.

Потом мы вышли к дольменам.

И всё сразу стало неважным.

Ни дорога, ни усталость, ни то, сколько людей здесь бывало до меня, ни то, сколько фотографий уже сделано на этом месте. Передо мной был камень. Древний, тёплый, молчаливый.

Я подошла ближе.

Гладкость поверхности, тяжесть плит, круглое отверстие в передней стене, прохлада возле входа, едва уловимое тепло от самого тела дольмена — всё это ощущалось не как архитектура. Мне даже показалось, что здесь нельзя смотреть слишком быстро. Глаз должен привыкнуть. Дыхание должно выровняться. Только тогда место начинает открываться.

Алёнка стояла чуть поодаль и не торопила меня. Она вообще умела в нужный момент стать почти незаметной, отойти в сторону так, чтобы человек остался наедине с местом.

Я медленно провела рукой по камню.

Он был прохладным, но под этой прохладой чувствовалось другое — накопленное, глубокое, плотное тепло. Как будто камень тысячами впитывал солнце, дождь, дыхание земли, прикосновения людей, тишину леса — и ничего не отдал, а всё сохранил.

И тогда возле самой земли, сбоку от дольмена, где между камнями лежала тень, что-то шевельнулось.

На этот раз он явился не сразу весь, а как будто собрался из сыроватой лесной тени, из тёплого запаха камня, из шороха воды неподалёку. Сначала — тёмный краб у камня. Потом — голос. А потом уже внутренним зрением я увидела его тем, каким он становился: старый, древний, с морской усмешкой, с глазами, в которых живёт слишком долгая память.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.